

тридцатое февраля
серпучов 2018 / 1

ИСУПОВ

ДОЛГОЕ



ИСУПОВ

ДОЛГОЕ

тридцатоефевраля
серпухов 2018 / 1

Исупов

«Долгое». Стихи. Серпухов: Изд. «тридцатоефевраля», 2018. 110 с., ил.

Что-то вам услышится (вдруг родное :-), почему нет) в этом «Долгом»? «Человек» (см., к примеру, третью книжку из этого замеса), он — долгая песня (очень долгая, очень) или всё-таки (хотелось бы верить) «Усилие» (см. томик-2)? Вопросы...

Иллюстрации Дино Вальса ([Dino Valls](#)).

Обложки:

1-я стр.: «Лицо» (Personae), 2016, деревянная доска, масло и сусальное серебро: 76 × 83,5 см.

2-я стр.: «Диорама» (Diorama), 2016, деревянная доска, масло и сусальное золото: 105 × 100 см.

Шмуцтитутлы:

(I) Распять раз семь: «Преисподняя» (Varathrum), 2003, холст, масло, полиптих в 6 частях: 250 × 350 см.

(II) В глубине молока: «Цветок» (Flos), 2007, деревянная доска, масло: 122 × 122 см.

(III) Медаль за ногу: «Тень сестры» (Soror Umbra), 2013, деревянная доска, масло, полиптих в 6 частях: 52 × 47 см.

© Исупов И. М., 2017

© Изд-во «тридцатоефевраля», 2018

© Dino Valls, иллюстрации

Человек — это длительное усилие.
Мераб Мамардашвили

I
РАСПЯТЬ РАЗ СЕМЬ





Дино Вальс (Dino Valls)
«Преисподняя» (Barathrum). 2003
Холст, масло, полиптих в 6 частях: 250 × 350 см

Эволюция

Как утончён отборный из миров:
на всякий камень с неба вымрет темя
из женственных точёных костяков,
и маковки превыше наше племя
взрастит-взрастит, чтоб гнаться за пращой:
в столь пальцев толщиной из лучшей стали,
сколь валунам, сравнившим нас с землёй,
не проломить: лишь чуточку втоптали!
Целуй же, мать, в макушку поутру
дитя — ему ни трещины, ни бреши
не ведомы, и вместе ввечеру,
рвя жилы с арифметикой, понеже
оно в живых и пальчиком в носу
ведёт, не оторваться от, раскопки,
плещи руками: не мозги спасут,
но воля к толще черепной коробки.

Читать, заикаясь

И всё-таки животное* . А речь,
а чувства — немочь неужённого желудка:
нам и без них иного подстеречь
и распороть в прорехе промежутка —
пока орёт своих, тягает нож,
замахивается — не запятая, —
есть дар удара и мясная дрожь,
когда достал и красная густая
в такт сердцу застывающему бьёт,
и ярость ног есть, чтобы сохраниться,
а брошенное между: «Всём не мёд»,
как койко-место в раковой больнице, —
комедия, загнётся без неё, —
и без него заснётся как младенцу,
а кодлой колет только комарё,
а «водки б мне» понятно и ташкентцу.
«Мне водки». — Вот и всё.

* И в самом деле, читать запинаясь, подбирая слова.

Миллион лет до нашей эры II

В те времена, где не садится солнце,
 сон поднимает человека первобытным:
 волкам потраву брату кроманьонцу
 в охоту закатить — так любопытно:
 они едят нас поедом, но сами
 вкусны ли? Или это наша склонность,
 распарывая, горбиться часами,
 выискивая в них одушевлённость?
 Волк человеку кто вообще? Поступки
 нескладные (загрызть испуга ради)
 подобны нашим, отчего же хрупки,
 беспомощны, когда, услышав сзади,
 и спереди, и сбоку близкий топот,
 доверчиво кричат, и даже слёзы
 стоят в глазах, и, перейдя на шёпот,
 ложатся на спины в винительные позы?
 Убить — *кого?* Такого же, такую ж?
 Ни молока, ни мяса, только дружба;
 и перед сном нечаянно тоскуешь,
 убив нечаянно, урча о службе службой.
 За бабочкой взбежишь и крылья-ноги
 поотрываешь с корнем — и ни с места:
 красивы так, что на глазах ожоги
 и руки плещут незнакомым жестом...
 Но сон сминает день прошедший в глину,
 и снова человек нетронут, словно
 тот дальний лес, в котором завтра сгинут
 бараны, ибо волки выйдут ромбом.

Однажды в Афинах (из Софокла)

Водитель хора

О мощный царь, мне надобны полки,
чтоб по морю от пеня их круги
шли и сдували на́ берег фелюги,
и рыбаки, пиано на тот свет
сходя, шептались: ах, спасенья нет,
мы люди, на беду, а не пичуги.

Медали «За заслуги» прикажи
тотчас чеканить, ибо хороши ж
мы с хором будем, если сгинет рыба
и дети, витамин не получив,
начнут беситься с жиру, мой комдив,
и дорастут до мятежа и дыбы, —

заранее вручим: сюрприз, сюрприз.
Чем больше сдутых по оси абсцисс,
тем выразительнее хор на ординате:
не просто форте требуем с полков,
но кораблекрушений и костров,
процессий погребальных. Будут кстати:

твой профиль и залысины твои
заменяют им уловы и буи,
заранее восславят *взятых глоткой*.
Распорядись. Дивизии вполне

должно хватить, — и души на волне
не уцелеют ни единой лодкой.

Архонт мой, ты же первым ткнёшь в глаза,
едва расслышав наши голоса,
и мы лишимся бархатного баса...

Ар х о н т

...А также тенора — и распущу твой хор.
Говно — вопрос! Устраивай свой ор, —
сниму дивизию-другую из Донбасса.

Из Марка Порция Катона

Не режь раба, хоть тянется упасть,
сломаться по-хорошему: не пясть,
но пару задних ног. Терпи — хвали,
пусть думает, что падать, чтобы выжить,
совсем не то, когда служеньем выжат, —
уоставшего не станут кобели

обгладывать, но лишь покажут пасть
(предупреди собак). Он обокрасть
тебя рождён, чтоб только умереть,
он и живёт, отсюда и поступки
холопские, да кости слишком хрупки,
чтоб с крыши оземь, оттого и плеть,

а не петля на вязе, и слова:
умасливай, и пусть торчит строфа,
но важность до отребья донесёт:
он, между прочим, двух волов не стоит,
что если с неба рухнет астероид —
и полтора быка уйдут в расход!

Свой тёплый тон — «ты понял или нет?» —
согрей вином не прянику вослед,
с ним надерись — пусть перепьёт тебя,
с рабом любая хитрость не излишня,
а чтобы не прирезать, лавровишней
закусывай, его хвальбы терпя.

Туніку снять с себя не дар, но ход
(а если он — она, наоборот,
и поголовье прирастёт, поди):
пусть щеголяет, коли пятилетку
в три года обещает (а с брюнеткой
не ройте землю, но нет-нет да и).

На Томы! (Из Овидия)

Не в это время деревянных линий
губ стиснутых и рук по смиренным швам
стирать с лица неистовство и иней
со скул сдирать, и тугость тетивам,
и суету мечам, и смертность брани
смягчать и скрадывать, покуда он не квит,
наш добрый враг. Не ликовать заране,
пока он различим ещё как вид.
Иначе — что? Придёт, вопьётся в душу
и судно будет мерно выносить,
и никого роднее в нашу стужу,
и ничего похожего на прыть!
Пока там есть кому рожать и плакать —
не брить бород, не говорить «люблю»,
по трупам — как по дому; вражья мякоть —
котлеты на второе ковьялю,
которым мы засадим этот город.
На первое ж: богатыри не мы,
мы только смерть! Да всякий будет вспорот,
в чьём сердце вы уловите шумы!

Вопросы, парни?

Варвары (волна придёт)

Они придут, и будут при кастетах,
и, имя не спросив, усыновят;
носы лишь распрямятся на монетах,
горбинку обретя; топить котят
отныне не придётся, только вешать;
зато фалернское, и слов на языке
прибавится невпроворот; на *нежить*,
натопанную кем-то на песке,
сощурившись, заметят не без грусти:
«Волна придёт, и будет высока».
Волна придёт, и в жадном костном хрусте
слова утонут; новая деньга
курносостью сверкнёт; устав от дыбы,
потянутся всем телом — и в ГУЛАГ;
зато «Столичная», и тёплое «спасибо»
за пряник, если кончился кулак.

Миллион лет до РХ

Вокруг роптали, лязгали затворами,
семейными взмокали разговорами,
засовывая телефоны в пах:

«Ты слышишь? я соскучился, и водки
достань, а то продрог, понеже сводки
предписывают вешать на крестах,

поди постой потом под почесухами
обсиженный приласканными мухами,
пока он обомрёт наверняка;
как там мой парень? бьёт тебя ногами?
родится — накажу: вонжусь щеками
колючими в родную плоть щенка;

распяты раз семь — и не поднять щекоткою,
но должно бдеть, помахивая плёткою,
покальвая сталью — вдруг живой,
как этот безотцовщина, который
«я есмь» твердит который день, нескорой
погибелью вселяя страх в конвой;

как быстро тут смеркается, хорошая,
коль не поджечь кресты, единобожия
болельщики подступят в темноте —
и нету выродка, и пенсия в таймшере
накроется расстрелом на пленэре,
и ты, пузатая, соскучишься в нигде;

светает; все на месте; безотцовщина
умре — как показала поножовщина...»
И я подумал: появляться, нет?
Мария, мама, крикнула от боли,
когда я закупорил альвеолы
и задохнулся — мало ли ей бед.

Иосиф

Т. Т.

Целый день который год кресты.
Плотнику хотелось бы стропила,
скаты крыш, с которых ослепила б
полная луна; её черты
налились бы плодом на сетчатке,
в час, когда цветные отпечатки,
во поле, не портя борозды,

оставляют двое. И дома́
подводить хотелось бы под крыши,
кров за кровом вдаль — чего же выше,
в поле хорошо, но есть зима;
вниз сходить неверными ногами,
подле девы спать и утром в сраме
не виниться — ведь она сама

рассмеётся: мастеру — вся честь,
пусть... Иосиф?... приземлится рядом;
рядом ляжет, и во платье снятом
буквы невозможно не прочесть:
будет сын, а прочее в тумане,
кто-нибудь кого-нибудь обманет,
как всегда, но сына деве несть...

Но — кресты. Без края и конца.
Целый край крестов и никакого

знака, что прибѹдет время ново;
кровоточит около сосца,
да мозоли крестовоздвиженья
паче тем, чем злее удушенье.
Не родиться сыну без отца.

Дева

Мария на земле среди крестов
сидит, людей вбирая черноглазо:
неисчислимо ватников, а ртов
неурожайных — с гаком, и отказа

от хлёбова домашнего до сих
времён, идущих от изобретенья
креста как средства бешенства одних
и твёрдости других — и их успенья,

не знала дева: скаленный «давай»
звучит непроходимо, как «...а сиськи!»:
«Давай-давай, а то наш негодяй
ещё потрепыхается, а миски

с твоей готовкой вылизаны до,
зачищены, эх, вот бы мне с тобою...»
Со взгорка вид («...и вставил бы, а что?»):
плато — гнездо, и клювы с моровою,

как язва, страстью поглощения еды
хотят её. «...А плотники не люди?
Им, может, достаётся за труды,
но, мама, работяги, как о чуде,

о тёплом сердцем доме говорят,
им снятся дети, яблони и море;

один из них, куда уж как не свят,
своих по лавкам шестеро, но вскоре —

я думая ещё — я буду с ним.
Как их не накормить! А распростёртых?
Пока мы, мама, языки скверним,
воздетые мечтают об абортах

и выкидышах для сестёр и жён!
Мы — сёстры их и жёны! Нам и влагу
к губам их подносить...» Заворожён,
рассвет внимает её звукам, шагу;

доспоривая с Анной за глаза,
в дól сходит дева; с ближнего распятья
ей улыбаются, навстречу голоса:
«Вот и Мария!» — то мужья и братья.

Мясная лавка (1551)

Уже в сметану ложку не вогнать —
 густа, как освежёванный румянец;
 урчанию копчений «исполать!»
 по сычугам пирующих жеманниц,
 которым устриц вскоре надоест
 глотать под умягчённое хмельное,
 грядёт пора, но прежде скотомест
 лишится пара жвачных; ветчиною
 продолжится вечеря; со слезой
 сыры и масло лягут поверх дичи;
 а кровяной набитой колбасой
 бычиной головой прельстят, талдыча:
 «На следующее рыба, господа»;
 и мёртвый взгляд упрётся в подпространство,
 где отщепенцам немила еда,
 когда она жратва и окаянство:
 шепнёт Мария: «Милая, айда,
 спасение не в чреве, а Иисусе»,
 и кус последний сунет, но Христа
 утопит нищенка в слюне и хлебном вкусе*.

* Речь идёт о [картине](#) Питера Артсена (1508 — 1575) «Мясная лавка, или Кухня со сценой бегства в Египет».

Нимрод

Стрелялись мы.
Евгений Баратынский

О господи, нам нужен переводчик!
Что, что он там лопочет? «Бог подбит»?!
«Одной стрелой»? «И стонет голубочек»?
«И красный — впредь мерило тех орбит,
где Он кружит всем головы и судьбы,
и целиться пожалуйста туда»?..
А солнце с запада, о да, взойдёт. Да будь бы
всё это так, нам был бы знак, — беда
одна не... Господи! Снег. Выдержанный в красном.
В июле. Вдруг. Пошёл. Как он на вкус?
Кефалью отдаёт? Перед соблазном
признать, что это так, не удержусь,
но кто из нас засматривался рыбой,
летающей в небе там, где снег растёт?
Слепые, несомненно, но под дыбой.
Другие мысли? Что если налёт
багряной непогоды нам не снится —
и Он ел рыбу, прежде чем Его
изранил этот? Люди, не ехидца
должна гулять по лицам, а вдовство
и безотцовство, это же острее
всемирного потопа. Образа!
Несите. Наплевать, да хоть в ливрее.
Что, что он там бормочет? Ни аза

не разбираю. Узнаёт?! А тучи?
«Да ясно было»? «Коренной стрелок:
в туза со ста шагов, а нахлобучу»?
«Стрелялись мы: я, Нимрод, и он, Бог»?!

Почта с границы (из Овидия)

Вновь вялое ведение войны,
и разговоры рук раздражены:
под дых, пощёчина, за горло, по зубам.
Начнёшь канючить: «Левый берег Понта,
талдычат голуби, вернувшиеся с фронта,
уже не наш, хочу туда», губам
солёно делают тяжёлые ладони,
и даже раб тебя пихнёт: «Сидел бы в лоне».

Тут птицы приволакивают: «Мы
ещё не ломим, но и кутерьмы,
когда сарматы, выбив легион,
отдали нас на разграбленье бабам
и те мужей наделали нахрапом,
сегодня нет: господства эмбрион
произрастает на границе в детях,
вы всяко отличите их от этих».

И цезарь (сам!) столицею идёт:
кого обнимет, а кого нагнёт —
и девы гнутя, не ломаясь, ибо честь:
«Победа будет. Тебе весело? За нами.
Подмахивай хотя бы. Временами
казалось нам, что всё, но эта весть.
Где эти сизари? В сенат крылатых.
Так окрыляет. Римский ген в сарматах».

И снова почта обрекает перепляс:

«Явились даки и повырезали нас,
все три колена; римские носы
на этих рожах смотрятся отменно,
и только это гонит кровь по венам».
Я стар уже для спáты и кирзы —
рву кадыки домашним и к обеду
зову лишь тех, кто верует в победу.

Спячка (сарматы)

Жирна земля в курганах теплотрасс
 под сущим снегом пригревает честно:
 сарматы спят, и, может, не исчезнут
 ни дикий дух, ни друг концов саврас:
 вдруг прорастут весной — и за ножи,
 и части императора на мощи,
 а коль не отоспятся, то попроще:
 по кругу на кол под «не откажи»,
 а после ломом, — и *égalité*.
 Но долог холод, и ломают зимы:
 дрожат внутри, но не произносимы
 ни *liberté*, ни «пулю сволоте».
 Но долог холод, и весне не выть
 о том, *как дышит грудь свежо и ёмко*,
 скорей триас подступит, и позёмка
 взовьёт крапиву, папоротник, снить,
 а никакое не *fraternité*,
 и шар сведётся к плоскости брусчатки,
 и вылезет из свежей яйцекладки
 сплочённость не в Христе, но гопоте.
 Но долог холод — значит быть теплу
 в конце концов, и нам не уклониться:
 протрём глаза — и пролистнём страницу,
 подтягивая раннему щеглу.

Дайте ж утереться (из Лукана)

Выступает некто, рожа чья
мельтешит дождём перед потопом
(в моём доме эти жития,
как могила преданным холопам,
безымянны, пусть он хоть Тацит,
Марий или как его сегодня,
разве что собака пробрюзжит,
доведись филей с его исподним
ей до мозга выглодать костей,
его имя — и не огорчиться
от пинка и лома челюстей;
сказано же, Гилакс: крановщица,
та, которая не каждому даёт,
более достойна слов *алина*,
люся или как там их. На вот,
образина, жирный кус: конина,
вырезка в цикуте, сладко спи,
ты был другом, дайте ж утереться):
полон света император и
величав, когда солдаток меццо
выпевает «Завтра им в поход»
и колоратурят полководцы.
Слёзы подступают: идиот,
он же из-за спин — уберётся.

Расписание (задержка дыхания)

Почти Казнённому немедленно воды!
 Почти Казнённому, ах, плохо — и сугубо.
 Последнее Желание — «горды,
 но сладкие» — заждавшиеся губы,
 вы где, ау... Нет, даже в туалет
 нельзя, мадам. Я умоляю: рядом.
 Горшок сюда! Ах, он не обогрет.
 Пожалуйте согреть аристократом,
 эй, кто-нибудь, урительник для мадам!
 Кто должен утеплить ночную вазу?
 Не меньше князя. Понял и отдам
 всего себя, чтоб следовать наказу.
 Внимание: взойти на эшафот
 покорнейше прошу любого князя
 для многознаменательных работ!
 Лишь одного! (А их вокруг — как грязи.)
 Мадам, он тёплый, делайте дела.
 Почти Казнённый, вы уже воскресли?
 Тогда лобзайтесь: губы — пастила.
 У вас три дня. Пожалуйста, без «если».

Быть вместо

Кричат: «Освободить», кричат: «Расцвёл»,
ещё: «Четвертованье не сломало»,
а также: «Убери, душитель, ствол —
дай им соснуть», «Прекрасней сериала»,
«Пальни поверх, чтоб нежились взасос»,
«Она без страсти, словно из-под палки»,
«Он — мой герой, а в эту сучку врос»,
«Как больно от подобной аморалки».
На день второй (жалею, что из трёх:
зря убоился — не спросил недели)
уже всю светился, и от крох
с губ незнакомки сладко при расстреле
мне было, мне распелось на кресте,
в петле грустилось: ныне б так и присно,
хочу быть с ней не только здесь — нигде,
не только с ней, мне льстила укоризна:
«Ну почему там кто-то, а не я!» —
кричали люди, выжившие смлада.
Казнён? Наверно. Но зато три дня.
Почти вся жизнь. А дольше и не надо.

Обман

О господи, багет, а не топор...
 Развёл руками, будто бы о рыбе.
 Хор пополам сложился, сияясь мор
 от хохота подать: людские зыби
 орала так, как выстрелы, когда
 от тела отрывает ягодицы
 и замирает на часы вражда:
 в окопах ржут, чтоб после нагруститься;
 гудели гололёдной мостовой,
 роняющей, не разбирая кто ты:
 на казнь спешащий тысячной рысцой
 простолюдин, которому охота
 отдаться диву, или же палач,
 а то и тать, виновник высшей меры,
 пока ещё смешлив, прямостояч,
 но, погоди, вострят глаза Вермеры,
 и на холсте ты будешь сама боль.
Харэ смеяться! Значит, ставлю к стенке...
 Народ нахохлился: обманная юдоль —
 сей жалкий мир, и молча пялил зенки.

На любой площади

Не передышка нынче, а дела:
галдящим, опасаясь заграницы,
дроздам на перекладину садиться
запрещено. Да вéшают тела
там пуще нáшего, — найдётся где присесть!
Вокруг который день честные лица,
и виселице не повеселиться.
Там в виселицах всё, где есть пить-есть!
Катитесь без зазрения, дрозды.
У нас сегодня славная программа:
палач, забыв топор, не имеет срама:
батонотом из футляра вскрыет рты,
смех огласит простоволосый хор,
и тот поднимет старые обиды:
палач объявит мерою защиты
расстрел непритязательный, и вор
осечке, как отрежет: эй, сатрап,
народ стучит копытом — ты уж вешай.
Тут и содеется: пока казнённый свежий,
распнут поверх всего под мокрый крап...
Всё то же самое на площади любой!
Валите, крылые, — им вольно целоваться
песчинку-две, потом придёт прохладца —
а вы уже в пути, уже долой.

И тут внезапно возникает декольте.

...Всплакнула утром Изабó: «Король безумен,
 а я — нисколечко, и вот: ни варьете,
 ни разыкаться за обедом, ни изюмин
 из булки выковырять или плюнуть в суп,
 раздеть конюшего и с ним совокупиться,
 и пусть он будет потен, сыт и груб —
 чем звонче *ficken*, тем длиннее лица;
 так скучно, девочки, что хочется застать
 себя на улице поддатой и в исподнем
 танцующей канкан, но ты же знать —
 и шествуешь, застигнутая полднем,
 на все крючки от пяток до ушей
 застёгнутая, на дневную мессу,
 а хочется свободы и тощей
 быть в талии, а тут пускай до свесу,
 до выпадения и зависти двора
 торчит и светится чувствительная сдоба».
 И вечером, по-прежнему хмура,
 но с *вырезом* уже была особа.

Дама просит (из Жоржа Шателлена)

...И сказал оккупанту король:
— Вот ландскнехты, и все с барабанами,
пусть стучат, чтобы сделать их рваными,
пока мы сносим раны и боль
перед нашими стройными ратями,
поступаясь собой, но не пядями;

даю слово порезать вас, сэр,
на фрагменты путём расчленения:
мы сойдёмся, и ваше падение
неизбежно, как мой адюльтер
с вашей дамой на вашей постели, и
обещаю, что будут камелии

на могиле, смиритесь, пустой, —
и собакам захочется тэфтелей,
и ландскнехты полны добродетелей,
не сочтите их страсть срамотой,
сувениры с британскими членами
выделяются красными ценами;

мне ж достанет движенья ножом —
если только у вас там шевелится,
между ног, сэр, мне хватит безделицы, —
дама, сэр! Иззмеилась ужом:
«Умоляю, хоть что-нибудь редкое,
что бы я рассмотрела с лорнеткою...»

И ответил король наглецу:
— Я согласен, месье, будь по-вашему.
Обещаю, одними оммажами
не отделаться вам, мертвецу:
лишь поклявшись быть верной собакою,
вы падёте, угодливо вякая...

Колоколотейщики переколотили выкарабкавшихся выхухолей

Рожи парящие, вовсе зашитые рты,
знаками: некогда, надо ишачить, с досадой.
Это потом эволюция оторопела: эх, ты,
дура, им корм принимать, одному ли, бригадой,
как?! Только поздно — малинов расплатою долг:
колокола наловчились повсюду и не утихая,
гул их плывущий заветный, зловецкий, когда бы умолк,
кто б отличил от рассвета, собачьего лая,
праздника, ропота, смерти, рожденья, конца
жизни стеклянной самóй, у которой всё хрупко?
Не целовать у того, кто на троне отныне, крестца
без колокольной отмашки, не впасть в мясорубку,
даром что шляться нечем теперь, не покинуть её,
не схорониться под плинтусом, если вдруг новый
резать ночами поулично на прожитьё
станет, а колокол вякнет — хотя бы целковый
побережётся; ни птица под-над не скользнёт,
коли долбят по ушам, оттого на обед будет с маком;
буде же выхухоль экая вылезет, будто тут мёд,
переколотит набатный, ударив по экой «В атаку».

II В ГЛУБИНЕ МОЛОКА





Дино Вальс (Dino Valls)
«Цветок» (Flos). 2007
Деревянная доска, масло: 122 × 122 см

Декабрь 1812-го

Нуждой обильной малой алтари
миропомазав в холод непроглядный,
когда снаружи даже снегири
пьют лошадей, и бинтовые пятна
на их груди хрипят сигнал зари,
и лучше бы ко сну, а не подъёму,
бегущие, укрывшись за дверьми,
впадают в отрешение и кому:
не заволочь упавшего коня,
цедя: «Прости меня» и рявкнув: «Тополь!
Нам без него не раздобыть огня», —
немыслимо, тогда и мяса вдоволь
под потолочным фресковым лицом,
и пламени, когда со стен иконы
закончатся, и рота, взяв кольцом
костёр, замрёт на дохлом порционе.
Но где взять силы на простой приказ?
И капитан, едва осилив брюки,
осел у лужи, и родной Эльзас,
пока он спал, околевал от скуки.

Однажды в Савиньи-ле-Тампле

На воротах скромный синий плат —
стало быть, придут, потопчут девок,
самогона спросят и для спевок
стянутся, забыв про циферблат,
у костра в гостинной всем улусом
предаваться миру, узам, блюзам.

Голые похожи на людей:
те же члены, вши и сколиозы,
разве что отчаянно раскосы
и, когда суют себя, твердей —
или это потому что скопом?.. —
не в пример родимым остолопам.

Но за императора — мерси:
молимся до пенных губ за волю
к миру долговому и «геркулеса» вволю,
коли уродится на Руси;
знать бы только номер Николая,
с счёта сбились, здравия желая.

«Может, Николай, а может — Глеб,
может, Пятый, но скорее Энный,
нам не говорят. Но где же пленный? —
отвечают грустно. — Или хлеб
долговязый ваш мы все съели?
Хватит вам давать, мадмуазели.

Где ваш пресловутый инсургент,
что на самодержца клал с прибором?
Вот пенька, и сильно тянет бором.
Вывесим — и весь ангажемент».
Сдали, в общем, волокиту мэра,
что искал не дружбы — адюльтера.

Сволочь, если б рук не распускал...
Сняли синий скромненький платочек.
Девки понесли раскосых дочек.
Новый мэр — святой, хоть сенегал,
тоже благодарен Николаю.
Счастью в жизни ни конца ни краю.

Ветрено

Он дождётся в засаде на верной версте,
и идущие, даром что люди,
собиратель, зэка, вестовой при вожде,
рухнут оземь, кто в снег, кто в редуте.
Колыбельных сыскать, на сибирский этап,
с повеленьем стереть мерей с весей
шли, брели, гарцевали, покуда нахрап
не вздымал, — отыщись-ка во взвеси
яблок, птиц, ординат, рёва дальних морей
с собирательным именем дали,
кабы пазухи, полные тяжких камней,
не держали и не унимали.
Лишь конвою не писаны розы ветров,
не поникнет Калашников ТМ:
покружит с колыбельной и, переборов
человечность, сорвётся к Антеям.
Ураган перебесится задним числом,
вестовой затеряется в войнах,
собиратель вспорхнёт поперечным щеглом,
Трубецкой ждёт как манны конвойных.

Снящиеся дни (дворник)

Раб протекает в обстановке рыбы:
 в молчании давай-давай-труда
 плывёт от ожиданья авось-либо
 до точки ну-и-бох-с-ним, коль сыта
 та часть его, где плавники и жабры,
 а голодна — так значит скоро лёд:
 во Спасском вознесутся канделябры,
 затылки треснут, дворник предпошлёт
 пожарам пантомиму о собаке,
 утопленной по милости ея,
 до ледоходов — годы, ибо паки
 покроют всё, — родная колея,
 в которой отморозить да хоть пальчик,
 да хоть по локоть, да хотя б по гроб
 сумеет всякий благодарный мальчик,
 чтоб уцелеть, свалившийся в сугроб.
 Так тонут дни, а те, что будут сниться,
 собакой неуёмною бегут:
 «Твой голос важен», — выпалит синица,
 и он услышит: никаких причуд,
 выходит, говорят, — и спросит: сало?
 И на «ага» отнимет у себя
 лоскут в полпальца: ничего, не мало?
 И, проболтав метель, вскипит, сопя:
 а раньше отчего же ни полслова?
 Сын сукин как-то раз разинул рот.
 «Не кляча я», — не ждал от ломового.
 Их несколько, и он их бережёт.

(Птицы) Вши и черви

(С пулемётом Гочкиса, с «гочкисом», ага, осматрюсь придирчиво на предмет врага, палец без гашеточки в треморе — а то, устаёт, как маленький, искренне, зато рядом с ней — бесчувственный, этакий сухарь, жмёт в своих объятиях, оставляя гарь от больших и маленьких, палых и живых, тех, кто скачет ценами или вдруг затих, после можно толпами притоптать — и всё, хоть в футбол проигрывай, если пронесёт и, лишившись локонов, не дойдёт до ног, — мяч для сохранившихся — налитой сосок; в щель ещё раз выгляну: городок ничком, и, чуть-чуть замешкавшись, получу штыком, глаз заметит краешком лезвие в себе, палец скрючит корчею в затяжной стрельбе, птицы целой стаею выбудут из мглы — стёрты с неба жмуриком, но ещё теплы...) ...Стёрты с неба жмуриком, но ещё теплы, крыльями печёными лягут на столы младшего командного, чтобы выручал: гнойные заращивал, дробью ареал (правильной свинцовой) племени людей ужимал до малости праховых горстей, в строй вернувшись латаным, но не без огня: под бинтами пыхая, смрадом леденя богова двуногого, в поле в штыковой

дознаваясь колюще, свой или чужой;
птицу грызть дырявленным — это хорошо,
сёстра милосердия, отлежусь ужо,
сделаю заветное: сотворю дитя —
и полягу запросто, чрез него всходя:
червием повылезет в крае палых рот,
вшами носкость выверив, человеческий род*.

*«Вши и черви» — продолжение стихотворения «Птицы» (а «Птицы — вот они, в начале, в скобках).

Южанки за работой

Стежки ровнее, как я вас учила,
шву пригодится теплота руки,
пусть между губ лоснятся языки,
а пот, сбегая, извинит белила,
марая прямо и наискоски
щекастость вашу, что мила, но длила б
за мороженностью этим чудным днём,
а он свинцов, и мы его свернём,

как только выполним, и не за страх, работу.

Прошу не замечать окопных вшей,
торчит ноги остаток — а ты шей,
ты думай, как опередить пехоту,
которая чем дальше, тем дюжей
валит полёгшей, — клонится к отходу?
Обеда час; осталось сколько тел?
Нет, будем в ужин — морг не опустел.

Равнение, сволочь (1917-й)

Равнение на ранение, слышишь, сволочь?
 На оторопь, если дохнешь, урона горечь.
 Если же сам завалил, а он мрёт со смеху, —
 на Обвóдный канал как пленэрную гладь:
 начинил свинцом человека — и ни копать,
 ни плясать, — только плеск и его эхо

до Невы и дале. А нет пульь — на приклады:
 нежна височная кость, даже если кудлаты
 шапкой ли, волосом, и по всему Петрограду —
 хрустение на усение затаившегося врага,
 гуляющего по мостам, оживляющего берега;
 лопат всё равно нет — и рыбы рады

от кормы́ до носа: просто прорва корма.
 Долетит ли «ах, милый», «прошу покорно»,
 другое бессмысленное слово, — зевоту
 (устал, верю) сдержал равнением на,
 и пускай ныряют до самого дна,
 но прежде штыком — и концы в воду.

Суета, или 1918 год в Петрограде (1920)

Дать человеку грудь, когда на части
энтузиасты рвут Экклезиаста
под лозунгами «Грудь отныне наша»
и «Ты, бесправная трагичная мамаша,
не только кровному с понятием трёхлетке
отдашь последнее — подаришь яйцеклетки
истосковавшемуся без тебя матросу, —
ты общая, вот клич наш — и ха́бса», —
движенье не девчонки, но Мадонны,
которую исправно и исконно
с балкона завтра сбросят по ошибке,
и виноватый с доброю улыбкой
штыком укажет в сторону мальчишки:
упал, а выжил, надо же, братишки.
Младенец, вдруг подросший, согласится:
всё потому, что я по отче птица*.

* См. [картину](#) К. С. Петрова-Водкина «1918 год в Петрограде» (1920).

Рука, рот и слово

На ветер, но хоть что-то прорастёт?
Рука и рот разбрасывают слово;
его едят, когда, как хлеб, столово,
и больно топчут, если наотлёт,
а не срединное, до глади — голизны,
губ шевеления подсобного простого,
которое наполнит и глухого:
упало — я втоптал до тишины.
Приматы — несомненные слоны,
и рот их для стола, а не для слова.

Но что-то, не мертвы ж мы, прорастёт?
На ветер — но на ветер и надежда:
взмывает слово и, продравшись между
клыками, каблуками, до пустот
дотягивается и раздаётся там,
где отчего кровит и очень гадко? —
Ей делал больно — вот и вся загадка.
Нечаянность назначена словам,
когда они с желудком пополам:
услышатся ль? сжуются без остатка?..

Год поэзии

В год совершенства смеха по стихам,
в его разгар, когда рубили руки
за «вот вам типа виршей — ржите, суки»,
а сразу после рифмы к порохам
«указ», «страна», «усища» и «малина»
не надо было нитроглицерина —

сердечник обезвреживался сам,
столь гулким и отчаянным был гогот,
не слышать только б — иначе помогут,
щебечет пусть, коль ближе к небесам...
В зените года языка зеница
не сбереглась — крича, не схорониться.

Поэтов возбуждала в этот год
словесность, воспалённая рябыми
и узколобыми, мясистая, как вымя
стальной крестьянки, взятая взаглот:
те обмирали рьяно, эти дохли —
щеглами улетали, рифмы хохля.

В тот год, в который умерли стихи
(закопаны бог знает где и хлоркой,
а не землёй, засыпаны, да с горкой),
мы стали нёмы, безъязыки, — и
нам даже воздуха не надо набирать
для двух последних слов: долблёна мать.

Время (боль)

Боль долговязой стрелкой поверяли
на разном человеческом *матерьяле*,
который приспособлен *изъясняться*
ужимками и трюками паяца,
благою матерщиной лесоруба,
пусть даже на заливиستم йоруба,
ртом со свинцом в его кипучей фазе,
на пальцах из-за ненависти к фразе,
на пальцах, потому что больше нечем
заняться, вот мы средним и лепечем,
на пальцах, потому что больше нечем,
надменным пожиманьем узкоплечим,
молчанием с подвижными зрочками,
морганием («Моргни, и между нами
наступит понимание». — «Не выдам!»),
растерянным («Я свой, ребята») видом,
вновь находимой ниточкою пульса
(«Лежи по струнке, гад, и не сутулься»),
исчерпывающими чертежами
туннеля меж Бомбеем и Кижками,
истошной тишиною вслед за криком
того, кто малым был, но как-то мигом
и старше стал, и вымахал на дыбе,
неделю в беспробудном недосыпе
стоял иллюминированным и в хоре,
поющем: «Засыпающему горе,
ты всё расскажешь или сдохнешь, сука»,
смеялся, осмотревшись близоруко:

часы пробили полдень, но ночные
команды получают часовые
и так темно, что даже глаз культями
не отыскать безглазыми ночами,
свинец сглотнув, пролаял: «Ну же, хватит,
уж часовая проскочила катет»,
а циферблат меж тем считал секунды,
стирая в пыль рубины и корунды.
Вот что такое время — это злая
незнаемая боль, когда до лая,
а чаще до конца — и остановки
часов на полушаге, без концовки.

Из Хармса III (а тут менты)

А вот ещё был скучный случай:
у Хармса ни одной седины,
и зубы выпадали редко, —
а тут менты предстали кучей
и в рот совали заедино,
о, даже шаткой табуреткой.

Хармс так хотел отрезать ноги,
чтоб уползти из Ленинграда,
когда его почти бомбили, —
а тут менты на полдороге,
уже с пилой и рафинадом
в вопросе: сáм отнимешь или?

Хармс психовал в психушке перед
кормленьем лебедой с крапивой:
«Отдайте пушечному мясу!» —
а тут менты: объятъем смерят
и стукнут почерком красивым:
«Он убывает с каждым часом».

Уж как он ни губил их, сырых,
старушки хармсовы из дурки
его любовно закопали, —
а тут менты, да при мундирах,
тоскуют и жуют окурки:
«Писал — дай бог, но был в опале».

Ссылные сны (с днём рождения, палачи)

— Что же вы ели? — Ели мы ели,
ели мы землю, ели мы сны,
если в землянке в печи коченели
ели, в уголья пережжены,
и засыпалось: во рту от укусов
таял кусок в глубине молока,
а языку не хватало турусов —
по сковородке на едока
ахов несвязных, — но он как собака
вымотан смолотым и на плече:
некогда, некогда, голод вполшага
с холодом входят на первом луче.
А по утрам ели небо из крыши
и живота не жалели, пока
солнцу ребячилось, тёплое брызжа, —
и снова старились исподтишка*.

* (Ссылные сны) 7-летнего поволжского немца Саши Бауэра посреди тайги в ночь на 1 января 1942 года.

Вот мне бы

Вот мне бы стороны, вот мне б кг²:
полёживать, пусть и в пинки катиться,
потом упасть, — награда без затрат:
покой и потолок на роговице;
вот мне бы верность, пасть и мёртвый хват,
и цирлы — беспокойные четыре,
я б сукой-медалистом нарасхват
кормился при почтенном конвоире:
о взваленных на складе в штабеля,
закаченных ударами в ворота
пообломал бы зубы, шевеля
лежалых, за завёрнутое что-то,
благоухающее сладко мясом с
апоплексической ввиду забоя кровью
в кармане конвоира, где труссы
шевелиются, когда лежащий бровью,
улыбкой или «здрасьте» ни гугу, —
пусть даже с некрасивыми гвоздями:
я выплюнуть их не изнемогу —
мне пирожки даются челюстями.

Горский язык (из Гарольда Пинтера)

Не мелочный укус! Хочу потрогать...
Чтоб не болталась, я б усёк по локоть.
Но вдруг пришьют... Как, говорите, пса,
что отличился, звали-величали?
Я сам его прибью, и без печали,
не по уставу если вдруг коса

его клыков нашла на ваши плоти.
Представился ли он: «Я — Поваротти,
я — Белка-Стрелка, я — Простаты Рак»?
Обязан был. А после — хоть на части.
Чем строже служба, тем закрытей пасти.
Как звали пса? Собаку звали как?

Чего? Какое «він мовчав як риба»?
Так вы спустились с гор?! Тогда спасибо
собаке, что исполнила свой долг.
Молчать на горском! Только на столичном.
Сержант, к котлете пса — загрыз с поличным.
Язык ваш запрещён. Он мёртв. Он смолк.

Он умер. Его нет. Он вне закона.
Мы требуем с собакой угомона!
Что за «мені погано»? Имя пса?
А нету имени — немає и укуса.
Сержант, ей плохо только от конфуза:
не хочет на столичном — нам роса.

Иногда похожи

Включён гудок, дают звонок, стораает лампа, —
и падает на землю человек,
взнесённый ради (кто б считал) эстампа,
земля — Тулуз, она же и Лотрек,
верней — бетон. Он поднутрён за годы
на несколько, наверное, вершков:
так пёс довулканической породы
теряет в вечности порядочно следов,
летя долой мерцающею лавой,
которая застынет, и до нас
дойдёт: античность может быть вихлявой,
как этот обезумевший атас.
И валится не в сахарную вату
(добро бы в снежную — что если наметёт
из форточки, у нас холодногато).
И оттиск плох, как почерк в гололёд
целителя, зажившегося в «скорой», —
затем что неурочен и у g
в миг распорядка, схваченный конторой,
рук правых мускулистых нет уже —
спускаются по лестницам и в лифтах,
с молчком бранятся бабы и футбол,
оставив на машинках в русских шрифтах
оборванный на «тщетно» протокол.
Вот и они, в воздушном антураже:
пять вечера, впадают в нас — врачей,
пропойц, мордву, детей — смеются даже,
чем иногда похожи на людей.

?

Что если не задастся путь обратный,
и, выдвинув себя из точки А,
в А больше не попасть, коль в аппаратной
тунгуски, бука, тóполя слегка
пьяны и веселы: «Мне мама салыца
прислала, мужики, у нас же хряк»,
и, быстрые расплёскивая пальцы,
мужик, в миру Серёга и тюфяк,
по кнопкам, да не тем, стучит и сучит,
не те столицы, улицы не те
дырятся до подполов, и, дудчат,
дом мой покашливает, на одном гвозде,
висящем в воздухе, болтается зеркало,
я отражался в нём минуты три
тому назад, пока всего не стало,
пока не пали в путанице при...
как звали мою улицу? а город?..
А может — те (и мне ль того не знать,
когда я чем-то острым с неба вспорот
и кус меня Серёге вышлет мать).
«Полковник, милый, где же ваше сало?»
Лоскут тельняшки, смачное кило
копчёного явив, утрёт сусала,
и пальцы снова, будто припекло,
забегают мурашками по кнопкам
и спинам тех, кто с «ух ты» на губе,
глаза подняв, идёт, звереет в пробках,

от точки А отодвигаясь к Б.
Один из них в тельняшке; разглядите —
копчёность полосатая редка.
Поэтому не в братской и граните,
а за борт, как скотину и врага.

Приклад

Орнаментальный АКМ-приклад
с резьбою по мотивам рукопашной,
к курку ползущей свержившейся *башней*,

рассыпанной на сталь и силикат,
стекло, диваны, скомканных людей,
картину «Лопес может ледорубом»,
бредущее в инерции по трубам
то, что неслось бы, не осиротей,
обрывки снов и слов «не может бы...»,
отрывки из Иакова и знаний
о силе, что смела без озираний
дом видной высоты и худобы,

сметённой кучной танковой стрельбой
на, кабы знать и ведать, баррикады:

вот без орнамента орудуют приклады,
вминая лбы в затылки, вот судьбой
неудовлетворённый инсургент
бросается в людей с ружьём брусчаткой,
он канет торопливо и украдкой,
пройдёт всего один как сыч момент:
стеснительно осядет под штыком
и тихо крикнет: не хочу, а надо
(я знаю по губам, — мат, канонада);
повсюду смерть — и жизнь, но та молчком:

вот прорастает в теле мушмула,
вот махаон откладывает яйца,
которые пожнут, не побоятся,
из куколок глазастые крыла;
и снова штык, приклад, и вновь росток;

орнамент кропотлив, как у ван Эйка
[пейзаж](#), ещё не забивал до стейка, —
умеет же, не портя кровоток.

Запевала

Жил Штурмовой Вокал, и прорва граммов,
залитых в глотку смазки звука для,
чтоб пелось Рукопашное без шрамов
и начисто рвались на шницеля
похожие оскалом, но Другие,
жить помогала даже лучше, чем
врождённые: Задор, Идиотия,
Россия, Бас, Отсутствие морфем
не то что с наименьшим, просто смыслом,
Духовность (ах, Духовность), Глухота,
Призвание варягов Гостомыслом,
Раз Достоевский, значит — неспроста.
И даже в век, когда отбор и Дарвин
отняли у полков глаза и слух,
упитый запевала был уставен, —
Другие, слыша, убивали вслух.

Линия огня

Он заговаривал стволы,
им на ночь лепеча: «Простите,
когда оно стоит в зените,
стрелять не должно, мы не злы...»
Он с ними спал, когда случилось, —
ему прощалась одичалость.

Играя смазкой, как росой,
в его руках они теплели —
иначе б не видать им цели,
затылков не срезать косою
отточенного попадания, —
брань ни к чему бесславить бранью.

Прицел обыскивал чужих,
у мушки делались припадки:
«Палить, сейчас, покуда гладки
и масляны, и без сквозных!»
Согласно отвечал: «Извольте.
Рука вспотеет не на кольте».

И пёр на линию огня —
по ласке плод: стволы курились,
дырявя кадыки, не жились, —
и делал сотню за два дня
и триста — в три, став мерным глазом;
не тир, не наверстаешь сразу.

А тех, что в воздухе цвели,
держал за птиц: «Дерзки изрядно
по небу рыскать, и нарядны,
и не касаются земли», —
хвалил, но гнал, рыча собакой, —
парили, не грозясь атакой.

Но прилетело с высоты,
и спасовало там, где тонко:
дуб сплёлся с небом, а воронка —
с землёй, и это полбеда:
на линии огня густело —
зубám рвалось остервенело.

Рядовой Танатос (когда я чуть не выжил)

Когда я чуть не выжил, от руки
 оторвало плечо и всё, что ниже:
 живот, летая, расплескал пайки,
 и ёрзал танк, и мыкал в этой жиже
 звезду ли под пайками или крест? —
 Пёс их поймёт и, зализав, подъест.
 Когда я чуть не выжил, рядовой
 нечаянность была: им угловой
 подать из миномёта иль с руки
 нас накормить гранатами досыта
 нет разницы, — пехотные круги
 дырою светят, каской не прикрыты:
 нимб мяса, а не глобусных побед,
 лоснится, все жуют, пора: обед.
 Когда я чуть не выжил, рядовой,
 простой солдат, влипал в приклад щекой:
 жал на гашетку, снашивал крючок,
 я чуть не выжил ещё раз и снова,
 потом опять: тычок свинца, зрачок,
 поднявшись, видит: в воздухе свинцово.
 Как его имя? — [Тáнатос](#), чувак,
 он устраняет тик, а следом так.
 Когда я чуть не выжил, то решил,
 что труд его сизифов и уныл,
 и тут одна — с косой, но при вуали, —
 приобняла бойца: постой, отсрочь, —
 и люди жили, хоть и выживали.
 Всего лишь ночь, последнюю, но ночь.

Парад

Отрывисты, как лязг жучиных жвал,
команды командарма на параде:
«...Пошли виолончели! Самосвал
готовится к отправке! Здрасьте, бляди.
Припудрились, принарядились, ну?
Улыбки до ушей! Без вас, родные,
нам, рукоблудам, проиграть войну —
что подтереться. Трогательней выи:
тяните, чтоб увидел мавзолей.
Скандируйте: «Передовой — засосы».
Ещё пронзительней. Иначе, ей-же-ей,
разжалую в солдаты и матросы.
Погибшие, но милые, — вперёд!
Товсь виночерпиям и эшелонам водки!
Даст бог, и вам сегодня повезёт
и это пойло пожалеет глотки,
а также члены, бёркалы, мозги
стограммов опрокинувших на славу.
Ужели не метиловый? В зрачки,
в глаза, смотри, мерзавец, комсоставу.
Пошло спиртное! Товсь телам врагов,
побитых градом! Хороши. А запах...
Чем гуще смрад, тем больше орденов,
как говорят на кладбищах и в штáбах...»
Вот мы и дожили: победа и парад!
За трупами врага в убойном весе —
заградотряд! И если ты не рад —
на колорадской ленточке повесят.

Заткнитесь

Мелко, мелко, мелко говорить о дрожащих за
забором, дверью, стенкой, телами охраны холодных
леденящих руки рубахи-пса
императорских лапах и их производных

от пути по времени: скорости выпадения в
(османы сосут) ползучее живодёрство:
комок карты от Тунгуски до Калитвы
на карачках — стелется, а приветить чёрство —

камень выковырнуть и запустить — ни за что:
в недоумении замер, пускает слюни,
но друг дружку грызёт, ибо лото, —
и недошаренное не пропадает втуне.

Мелко, звук, просто звук, хуже воровства;
в прицел глядя — было бы уже по колено;
одичание и мертвечина — исчерпывающие слова,
пока душат и на шее взбухает не Москва — вена.

Чучельный мастер

Мой император! Кролики восстали:
их чучела бичуют по лесам,
кунсткамеру покинув и в журнале
понаписав срамного. Беглецам

в составе тигра, мамонта, тюленя,
археоптерикса, козла, коня, червя,
все безголовые невесть в каком колене,
всем было радостно, и, публику дивя,
они не позволяли «ну вас в жопу»,
медведя, йети, моськи и слона,
внутри — опилки, бросили учёбу,
но кто-то ж наката «пошли вы на»,
попа при псе, умявшего всё мясо,
крестьянина времён СССР,
который с вилами, умильная гримаса,
десантников верхом на БТР,
все из папье-маше, лишь сверху шкуры,
но кто их знает, более того,
осталась запись: «Сами вы скульптуры.
Фонтан зовёт. Взыграло естество»,
все, кстати, со здоровыми зубами —
да руки коротки! на то он и музей! —
а также суки Троцкого, вы сами
распорядились выставить, речей
не говорил, коль альпеншток на месте,
в затылке то есть, мёртвый, а ушёл,
и Ильича, конечно, на партсъезде,

немой двойник, без права на престол,
в придачу улизнули сердце Данко,
аппендикс Муромца и несколько мощей
Семёнмихалыча Будённого на танке,
все, впрочем, клоны — типа овощей,
в составе кулака, усов, нагайки,

которым посчастливилось уйти.
Мой император! Чучельные зайки
хотят вернуться, лишь бы взаперти
вас обожать, пусть даже без ответа,
с условием, чтоб иногда в живот
вы ни с того лобзали их приветно,
а там хоть за ухо, хоть в рот или проход.

Будний день (бить)

Будний день, отовсюду горланят матросы, —
 будут бить просто так, ибо всякая скорбь у людей:
 верно, цезарь подох, а густые ночные опросы
 обломались о рёбра и сцепку гнилых челюстей, —
 и он жив, как восторг, и друго́го народу не надо.
 Будут бить в будний день — как ещё убедить, что подох?
 «Лебединое» в цирке? Изгнанье коней из сената?
 Иль указ: «Его нет, а когда цезарь был, то был плох»?
 Будут бить, и не только матросов в печали, за это:
 будний день, а не верят, оставив неистовый труд;
 на работе сгорают, надеясь, что цезаря нету;
 грусть глуша, отдаются труду и безбожно ревут;
 его нет, а скорбят нерешительно те и без удержу эти;
 он, сдаётся, подох — но никто не убился в ответ...
 Будний день, а положат бесщётно. И вот, рикошета,
 будем, ведая, бить, чтоб увидеть прощальный лафет:
 будний день, а положим несметно друг друга,
 тех, кто бил, перетопчем, как вымытый начисто пол,
 если ж в спину, спустив «кровопийцу», отплюнут: «Ворюга»,
 бить не будем — посадим за праздничный за стол.

Танго

О Аргентина, родина прыжков
сколь затяжных, столь и́ без парашюта,
с тобой летит во рту обмылок джута,
но он не купол, а малоберцов:
как лошадь на морозе, эта кость,
и этот нерв, и эта жилка рвутся
первее всех, другое тоже куце,
но после, после вдребезги, и гроздь,
нет, кисть, нет, живопись, а впрочем, всё же длань
патологоанатома отделит
от лжи бесспорность: «См.: её бретели
не стропы даже, как ты ни тарань
собою воздух». И проворный спуск,
и кúбовых китов пищеваренье
(оно нежнее, нежели тюленьё)
хранятся в целости, а то, что взгляд потуск
у Солнца ли, Луны, у альфы [Пса](#)
не дело тряпки в вышвырнутой пасти.
Итак, ты выпала в полёте, солнце застя,
и поднялась опять на небеса?
О нет, есть продолженье: океан
солдатика, который не спелёнут
по членам джутом, вывезет — не тонут
солдаты вне судёб и медиан,
умея плавать, ибо «Жабрам час,
а выживанью остальное время, —
кричал у люка падре, — но не темя,
а нóги входят! Ладно, будет ляс».

О Аргентина, это ли резня?
На родине слонов и офицеров
небесной масти крестики прицелов
в руках не пляшут с коих пор ни дня.

Дрочида Пота (ПТС)

Дрочи́да По́та, зольный заусенец
 на недождённой сволоте́ полка́
 (Не Пальцем Деланная Юрская дуга
 спалила славных; выжил — отщепенец,
 изнанка горя сырых матерей:
 ярились матери: «Попробуй, постарей!»
 Их по фронтам возили, как иконы,
 составами — на редкость полегло,
 и уцелевший с болью наголо
 полз на карачках до салон-вагона,
 чтобы припасть и обещать весною,
 «до первых, Мамо, гроз, во честь героя
 неумолимое содеять — и в анналы:
 изрезать роту вражьей стороны
 о штык за пазухой, уделав остальных
 их кровью жабьей, чтоб ты угорала, —
 тем уготовив нам победу впрок.
 До лета, Мамо, точно! Знает бох»),

по смерти умирает прямодушно:
 похабщину на стенке, потолок,
 старшинский гульфик, переломы ног,
 противника, чтобы воспряла, тушу
 глазами дохлыми который месяц ест,
 с лежанки не вставая, — «это жест
 прискорбия и знак упадка духа, —
 орал лейб-медик. — Медсестра, подъём!
 Едва сутулясь, наши под огнём

распухшие смердят, а нам везуха:
завшивленные, дрищем, но риксдаг
поставим на колени под наш стяг.
Очнись, паскуда. Родина в поносе».
Дрочіда Пóта подалась на звук,
и мел лица он принял за испуг:
«Уж если находить конец в навозе,
то только комполка. Зовите, обалдуй.
Я буду жить. Но прежде — поцелуй.

А уж потом как благородие изволят».

Движения рук

Да нет же, речь о дружеских объятиях.

Ах, если бы; а кто тогда взрослей
внезапно стал и затаил о снятии
всех урожаев всех её грудей
упрямое, как память, помышление?

Да нет же, он хотел обнять весь мир,
а «к стенке» и иное шелушение
гороховых шутов утихомирь
попробуй, если люди невозможное
к утру возможным делают, и дом
пустеет дóчиста, и бедные пирожные
жуют пришедшие в движение потом.

Да нет же, тишина неизъяснимая,
любимая, и обняла вокруг
и горы, и селенья, и озимые —
весною дўри будет!.. Наш «Чинук»
едва не выпал пеплом им на гóловы,
но обошлось, я цел и в тишине
в прицел гляжу, ища раздельнополого,
хоть одного, на маковом пятне.

Да нет же, обнимались, как сожители,
лишь поначалу, так, разминки для,
а после неизменно ненавидели,
валили и душили, шевеля

себя по рингу честными ударами:
один сломал противнику хребет,
другой, сломав клыки, порвал молярами
все сонные — последний, но обед.

Да нет же, пулемёт обнять не дружество,
хотя б и перебитыми в бинтах,
а половая связь, сиречь супружество,
ствола с бойцом с «мать вашу!» на устах.

В

Если завтра война и миазы,
если завтра, короче, мертвы,
командиров оденьте в лампасы,
потому что пошли они в:
героично пошли в штыковую
всем своим боевитым полком:
прошвырнулись на передовую
и подняли штыки, и торчком
на трёхгранниках кованой стали
распрямились главкомы всех войск, —
поглядим тогда, сильно ли сдали
и красив ли живой жировоск,
потому что, бывает, в уставах
понапишут про «режь и коли»
не командный состав, а прыщавых,
постаревших в открытой щели, —
ну какой жировоск у мальчишек!
Не в пример генеральский на вид,
словно тлёю наевшийся чижик,
только что не поёт, а смердит, —
банку б вытопить из генерала, —
пусть лоснится среди орденов
за победу военного сала
над удушливой тенью мозгов.

Облака

Перисто-кучевые

Когда они внизу, сбиваясь в орды,
похожие на поиск чьей-то морды,
которая, забыв включённым чайник,
спалила крышу, улицу, село,
бегут на площадь, значит — припекло,
и следующая стадия «лишайник»:
на стены скопом лезут, и начальник
себя сажает на кол им на зло —

хотелось потому что разговора,
и лишь потом четверговать шофёра,
и только после, сразу вслед за «сука,
где наши бабки, тачки и кубло?»,
когда от рук и сердца отлегло,
вздохнуть о наступающем: «А ну-ка,
на кол его, ребят» и близоруко
всё подпалить и спать: «Уже светло».

Мы называем эти облака «барашки» —
бараны потому что и кондрашки
с лихвой хватает, благо прут, и нечет,
а то и чёт, стирается в пятно;
нам сверху видно всё — и всё равно
даёшься диву: лоб такой, а клетчат:

в грудную клетку смялся, ибо мечут
бараны град, и всё вокруг красно.

Перистые

Когда они внизу, сбиваясь в роты,
шагают на командные высоты...

Пошехонский экспрес

...Не безбилетников гоняют — беглецов:
снимают размечтавшихся: юнцов,
мужей в пенсне и девочек, в кино
собравшихся играть, покуда груди
позволят Анне К. сбываться в блуде,
и даже чемодан, а в нём полно

останков чьей-то тёщи, и состав
бежит страной, изрядно исхудава.
Проводники блюдут проводников:
упаивают чаем; телеграммы
шлют с остановок: «В двух шагах от драмы:
ушёл за кипятком — и был таков»;

оставших догоняют и домой,
когда состав проходит Колымой,
сбывают, отправляя по дрова.
Нашедших допускают к машинистам,
перевозимым в мягком и рысистом:
глядеть, чтоб у меня без баловства.

Экспресс, пять остановок по пути:
«Люфтвáfфе», «Грязь», «Мороз», «опять Дожди»,
и следующая станция всегда

«Снег», снова «Снег», и иногда «Люфтваффе»,
где ни-че-го*, а Анна К., о графе
додумав, западёт на поезда,

кружйт, вестимо, кружит, и в окне,
что пьался внутрь, что поедай вовне, —
одна узкоколейная судьба...

Денис, Григорьев! Нешто на грузила
не нужно нынче гаек? Гайки — сила.
Раз отвинтил — уже не так слепа.

* [себе (!)]?

Бесы

Глаза продрав, как локти на рубахе
 (поизносились — не унюхать щей),
 всплеснуть руками, перейти на махи,
 взлететь повыше, да хоть сам-третей
 своих подмышек — что мы рядом с лесом, —
 забота в семь потов и до беды:
 а ну как разноцветье с интересом
 взглядится и, храня от простоты,
 пообещает заглядение и слéпит
 из пыльных недотыкомок людей
 и мы с «пошёл ты» перейдём на лепет —
 на «здравствуйте», и станет не до щей?
 Что если бабы мордой хуже мяса
 до выстрела и сочного куска?
 А аэспушкин не джондóнн чумазый,
 а чучело последнего врага?
 Терпеть их без кулачного указа?
 Совать в другие дыры и бока?
 Без щей звереть? Уж лучше жить безглазо.
 И повод — дрянь, и вилами блага.
 Продрав на миг, от пестроты ослепнув,
 пусть даже не видали ни черта,
 прозреем разноцветием молебнов.
 Мы бесы. Наше право — темнота.

III
МЕДАЛЬ ЗА НОГУ





Дино Вальс (Dino Valls)
«Тень сестры» (Soror Umbra). 2013
Деревянная доска, масло, полиптих в 6 частях: 52 × 47 см

Ротный

«Рвотный», — дóхали в спину сыро,
 передние из красного вынимая;
 уходя, бросал через погон: «Сыра»,
 улыбнись, короча. Сажень косая

в четырёх звёздах, «для вас с неба», —
 не промахнёшься, кóли штыками
 еле живые, устало, а не свирепо, —
 вот зачем ему было спать с нами?

Отворачивался, правда, не очень часто:
 при параде девятого на параде
 били ноги ещё по насту,
 и пинали не спереди же — сзади,

и затапывали, как слоны тигра,
 чеканя шаг, пока батю не выносили
 с трибуны за обшлагá и голые икры
 подкошенного праздничными промилле.

А о прочем известно: щели и дыры.
 Не снигирь, никак нет, затыкал нами,
 мясом, высóты и лакомые пунктиры
 между пространствами и временами:

не Измаил братъ — пальнул, и нету,
 и ночь в пятиугольных звёздах болтала:

«Упал, как намоченный, — по Интернету, —
и чего ему, животному, не хватало :-)».

Ах, да, спрашивали — отвечаем, о смерти:
жёны его, весёлые, а сами в сединах,
и пацаны его, рослые, злые как черти,
однажды стреляющие нам в спину.

Человек и медведь

Инвалид иноземных захватчиков рядом с медведем
в магазине «Охота» сидел и строчил на баяне;
мимо слушатель пёр, и мороженщик щёки румянил,
отпуская по чести смешным унывающим детям.

.

Первомай или Пасха, поди разбери, огибали соседей, —
водки мало всегда, а небелый к тому же непьющий,
это было причиной чрезмерных ахейских трагедий
и катарсиса: ладно, свободны, но кончите пущей.

..

Поелику калека есмь боль и упадок воркующей жизни,
негодяй, он на Пасху щемил: «Бога нет, есть невзгоды!»
и «Окурочек с красной помадой» и, «мать, дербалызни
брудершафт с инвалидом!» хрипел до ментóвской икоты,

..

и рубаху с медалью за нóгу снимал, и осколки и пули
в торсе бронзовом дрыгались в такт первомайской кадрили,
и портреты Исуса-с-Бровями текли впредь, сутулясь,
и снижался накал ежегодных торжеств, — леденили;

..

а медведь, говорят, нет бы тупо внимать, головою
то ль кивал, то ли дёргал от мух в магазине «Охота»,
и данайцы в погонах дарили друзьям паранойю:
хор тюремный стenal: «Им пятнадцать впаяли всего-то...»

...

Инвалид иноземных терпел от медведя немало:
тот в ночи иногда забегал и просил обниматься:

«Я смешной, — шепелявил, — я, верно, какая коала»,
а протезом попробуй забей плодотворно и вкратце;

...

и медведь ввечеру, когда громкий запойный калека
мимо брёл, распевая: «Тебя, как фашиста, замучу»,
лапы делал по швам — от греха и того человека,
что валил на войне даже «тигров» шутя и кипуче;

...

утром делали вид «он никто, мы едва ли знакомы»,
жарил Шнитке убогий, косматый томился в витрине,
лишь ментами за песни за руки и ногу влекомый,
человек вопиял к сердоболию чучела: «Винни!»

...

От директора скрытно звонил, подходила супруга:
«Как всегда, — отвечала прискорбно, — топтыгин,
спасибо».

И медведь, взяв двустволку, палил в отделении, ибо
кто ещё рад стараться полечь за свободу и друга.

Обычная история: велосипед

Увязший на балконе двухколёсный,
 ржавея, искалечен околёсной:
 для лета напридумывал дождей,
 чтоб тот, кто изменился после смерти,
 тащился не в погоду и по тверди,
 но в «прорвало!» в часть света, пропитей

реки, дождями взбитой до кипенья,
 срывался; а медлительность тюленя
 была как раз, когда он вещью жил:
 носильной, мягкой, с болью о субботе,
 сдавал себя на бледный день работе,
 постели — в полночь, полный сдутых жил

с застывшей кровью, ибо завтра снова
 наступит, повторится — и готово
 обильное тишайшее бытьё:
 родился — умер; да случайный кто-то
 осёк до срока эту асимптоту,
 его прибрав, попав в его жильё;

и нынче, после смерти, позвончен:
 поднялся и — дышать хотелось очень —
 на перемёрзший мартовский балкон,
 где небо сине и в плену колёса,
 «я к лету измотаю их до сноса»,
 кровь вытер и поймал рукой фотон.

Обычная история: тьма внутри

В лице, неотличимом от забора
с лицом, неотличимым от войны
с пришельцами, в которой «Беломора»
дать прикурить — и всё, породнены, —
не так чтоб очень, ибо марсиане
не курят и зажали нас в кулак,
когда парадным строем, шаг чеканя,
мы пёрли, к желваку прижав желвак,
надеясь на психические бездны:
нагоним жути — и не соберут
костей, а вышло вона как: любезно
во глубине ураниевых руд
дышать дают, чему пузырь на стенке
у рта лица порукой, но не «мир»
в нём нацарапан ссыльнопоселенке
на радость, а другой ориентир...
В лице, неотличимом от забора
с лицом, неотличимым бла пять раз,
он выглядел тоску, а близость мора
глазку дверному не открыл анфас:
«Вы раззвонились». — «Так у вас протечка». —
И шилом, кажется. А это была тьма.
Тычками в горло, грудь, и ни словечка.
В окне пух март, но всё ещё зима.

Обычная история: жена Лота

Мне нестерпимо, Лот мой, вынося
 себя на улицу, встречаться с ним глазами:
 он не отводит их, а губы «Верно, псами
 задрали бы, — роняют, — да нельзя —
 не пробовал ещё никто». А мне столпом
 стоять потом, и дошлые соседи
 с солонками подходят и для снеди,
 какой-то сельди, что ли, хоть не ртом,
 ножами выковыривают соль,
 всё до последней юбки задирая.
 Опомнившись, я вновь бессолевая,
 но бёдра и промежность, как мозоль:
 натёрты, Лот мой! Интересно что́:
 про псов я только думала, а слово
 он произнёс — и я уже пунцова,
 а столп был следом, «псами» было до.
 Ещё он выговорил: «Ладно, покажу»,
 а у меня как раз вертелось: «Где же раны?»
 Спустил штаны, а я и не отпряну —
 не отвернусь, уж столп, и на правшу
 (он правой трогал, Лот мой, смелый член)
 гляжу, а он хохочет: «Ах, другое»,
 и грудь, и горло, шилом для убоя
 исколотые, оголил взамен.
 Что — «показалось»? А мозоли на?
 А добрый локоть спелой крайней плоти?
 Погиб он, но восстал, — и я в пролёте:
 коль отвернусь — опять твоя жена.

Обычная история: тьма снаружи

В окне пух март, но всё ещё зима:
 тьма утром, днём просвет и снова тьма —
 у глобуса в избыточных широтах
 лихва не жизни, но солнцеворотов,
 всё время зимних, празднуемых так:
 кругом Певёк, и прокурор южак,
 жестокость проявляющий в поступках,
 баранов в рог в бараньих полушубках
 сворачивающий, и не успеть
 ни загореть, ни нож вогнать на треть, —
 светает на минуты; значит — шило,
 чтоб населенье глупо не блажило,
 не набирало зыбкие «ноль-два» —
 в такой-то ветер в темноте едва
 заметное лишь за стаканом рвенье
 к нулю стремится слева, вдохновенья
 ментов дрожащих вряд ли осенит,
 и лучше затаиться возле плит,
 вдыхая шаурму, что бдит в духовке:
 движения тягучие, неловки,
 засунул голову и в рефлексию впал,
 зрачок зашёл, и слеп белка опал,
 и до предлога ли тогда дверного звона,
 но вам же всем подать наполеона,
 к двери (вдруг мир светлее стал!) нестись
 и выкашлять из хрупких лёгких слизь,
 когда я их проткну, зачем-то надо,
 а это я — хоть глаз коли, монада.

Щупать

Пощупал — съел, живот ощупал — жив:
из атомов? а ты их, падла, лапал?
Из грудок-ножек-крылышек — пожив,
преумножаемых посильностью парабол:
кулак взлетел, упал — скула зашлась,
не заморозка, но чревовещанье:
рта не раскрыв: «Да прекратите ж смазь,
возьмите всё, ах, ваше обезьянье...»
Величество? Прощупал: есть средства,
бумажные и, на́ зуб, не из меди;
и чёл затих, лишь щиплоплошный «фа»
в кишках тянули, да пекли соседи
картошечку душевную в печи,
но щупать некогда — нащупывали жопу
чесавшие в пространстве кирзачи
и челюсти собак, собаки оба;
хватал за воздух — рыхлый, а пахуч,
и рыскал против шерсти с перегаром;
бывало, оступался и из куч
стекал, ущупав глотку, чтоб недаром.

Туда и обратно

В метро спустился, сел в вагон и пятерых
зарезал сразу, остальных — по мере,
как и решил, когда смыкались двери
и «осторожно» участило дых.

Смотрел футбол, орал со всеми «гол»,
а форвард плакал — значит, снова мимо.
Кричал: «Не усложняй!», но нестерпима
была обида — вечер запорол.

В автобусе подмигивал одной:
она глаза поднимет — я с усмешкой:
давай ко мне поближе и не мешкай,
вот-вот схожу, — но облеклась спиной.

Картошку ел. Пил молоко. Посуду мыл.
Спал цепко. Дал будильнику по шее:
ещё пяток минут — и встал свежее.
Взгрустнул в пути: опять забыл тротил.

В автобусе подмигивал одной:
она глаза поднимет — я с усмешкой:
давай ко мне поближе и не мешкай,
вот-вот схожу, — но облеклась спиной.

Смотрел футбол, орал со всеми «гол»,
а форвард плакал — значит, снова мимо.

Кричал: «Не усложняй!», но нестерпима
была обида — вечер запорол.

В метро спустился, сел в вагон и пятерых
зарезал сразу, остальных — по мере,
как и решил, когда смыкались двери
и «осторожно» участило дых.

Простым делением (агамогенез)

Менты страдают страхом дифтерита
на Пасху, скарлатины в Рождество,
изрезанности в мартовские иды,
удачных покушений на вдовство —
всегда; тем более когда, неделю
переломив, запой идёт на спад,
веселье сочтено и «отметелю»
звучит всё чаще, то есть невпопад,
зато уместен табельный «макаров»,
не вид вне кобуры, так гулкий звук, —
но много ли положишь санитаров,
когда патронов только восемь штук?
Лишь семерых, и на вопрос: «а как же
менты продляют род?» ответить им
не доведётся: «почкованием и даже
побегами, делением простым...»

Пельмени

1

Куском пулемёта кусок идиота
какая же вздорная мать —
да хоть бы и нужно, а то и охота, —
посмеет с гектаров убрать!
Поля для того и придуманы подле
и рожью засеяны, чтоб
бежалось вприпрыжку резвящейся коdle
и в пропасть, как в первый сугроб,
нырялось. А вы тут с куском пулемёта.
Ещё бы с куском кулака.
Верните детей на поля, идиоты,
и действуйте наверняка.

2

Лучше бы ты оженил лошадь
и попросил спяну
сахару с губ и звезду взъерошить
и оттащил к микояну:
были б пельмени из иноходки,
гости б смели в охотку.
Свет мой, у нас ещё тонна водки,
а на закуску — водка.

3

Мама однажды разбила пять чашек.
Без промедленья. Одну за другой.

Первая «стиснулась между затяжек».
Два — «промелькнула ракетной дугой».
Третью «я так саданула о стену,
будто в хлебало вонзила каблук».
Чашка четыре «порезала вену».
Пятая первой упала из рук.

Пустое

Мой адресант «Да чтоб ты сдох,
 чтоб гвоздь вбил и себя повесил,
 не то приеду — и врасплох,
 и помогу, и с первых кресел,
 чтоб лучше видеть, обонять,
 рукоплесну бывшему телу»,
 вы — человек. Пожалте пять.
 В вас просто всё оторопело,

когда открылось: от потерь
 не только хохот, но и слёзы,
 и мать, поди переуверь,
 точёней молодой берёзы
 была, когда попятил рак,
 её глодавший, чтобы память
 на вздрог вернулась и «приляг, —
 шепнула, — боли не убавить,

но рядом ты, и мне смелей
 умрётся... что там полночь, полдень?..»
 И нет её. Но тех же щей,
 лишь гуще, льёт испуг господень.
 Вам больно? — Пожелайте нам
 судьбы в отместку, а не горя,
 хорошей будет — пополам
 разделим с ближним, доле вторя.

Корреспондент мой, вы не зверь;
я, «пидор», знаю, как вам страшно;
жизнь — худшая из всех потерь.
Да только разговор наш зряшный.

Это

...Шлагбаум был ручным, и я ходил пешком и под, и перед электричкой, из-под вывёртываясь как-то, и белил в лице избыток зацветал больничкой; такое было время на часах: протяжное, как железнодорожный гудок-ревун, и в детских корпусах стремительность жилá, а тó б в чертёжной (так полагал конструкторский сынок) меня перечертили б и собрали ещё раз и ещё; «щенок, щенок...» — вздыхала ма и нудила морали выуживать из протеканья слов; отыскивал и тут же лез на плоскость: по парапетам крыш среди щелков вышагивал, выказывая ловкость.

Потом меня топтали на вокзал бегущие, когда случилось Это. «Театр у микрофона» закисал, давали что-то из НФ — и нету (с эстетикой у Них совсем уёллс): услышав про себя, решили: вот же, оно, пора, аврора, ломом в рельс, пол пот нам друг и истина в камбодже; прервали трёп: «Сначала телеграф отдайте по-хорошему», и факсы

мы защищали, словно ледостав
от зверств весны и безучастья саксов;
когда он пал, пришла пора мостов,
тогда-то и запомнились вокзалы —
сорвались все (а на спине следов
и нет, считай, и те позарастали).

Я иногда бываю у воды,
пугаюсь отражения — и имя
из щели для еды прёт без нужды.
И лишь глаза становятся людскими.

— · · — (проблемы общения с другими
цивилизациями)

Поднять из гроба Ньютона с Эйнштейном
не дрогнула умелая рука,
и сэры проповедовать [антеннам](#)
на чистом русском и издалека
готовы были — и несли чрез сутки,
пока их не оттаскивал Морфей;
мы отклику молились, только дудки:
ни единиц в ответ и ни нулей,
хотя б на [Морзе](#) — ни тире, ни точек;
Эйнштейн, как и молчание, хорош:
мы ждали годы, и мостов наводчик
расчёл: им сложно, если не соржёшь;
и мы смеялись пару пятилеток:
в эфире наступали на банан
и падали, ломаясь так и этак,
а Чаплин гнул своё: more can be done, —
но ни-че-го; тогда мы стали злиться
и с толком сообщили: прилетим
и выслушать заставим, и таблицей
Д. Менделеева покажется засим
таблица умножения, а эти
спустя не немного, а года
рта не раскрыли вновь, нас не приметя,
и мы, перегорая со стыда,
им слали Толстоевского, покуда
однажды не попали на привет

с одной земли (по сути, ниоткуда —
там всякий носорог и тошно): нет.

А остальные гулко ни ползвуча,
и мы, такие, нежно: почему?

И кто-то промолчал головоуко,
а кто-то не сказал: по кочану.

Медитация 807 (всему своё время)

В ряд камни выложил — а ни на шаг. Не сразу,
 не все покой исправили на рысь,
 лишь тени суетились на вполглаза
 дремавших спинах кварцев: опершись
 на локоть, видел, как на крыше рядом
 дубок втянулся в небо, но стена
 осыпалась, и кроны тень в измятом,
 вдруг поредевшем слепке из пятна
 зелёного ещё, уже густого
 сошла на нет (а кто бы не сбежал?);
 а ровно в полдень отдавал швартовы —
 и карий оникс западал в аврал
 войны тысячеклетней или дружбы, —
 корабль сидельцев с [Глизе](#) шесть-шесть-семь,
 и зори канонадные снаружи
 тонули в халцедоне, вязли... Сень,
 пристанище, гнездо, жильё и угол
перемещений вкопанных камней
 нашлись в зрачках у пса, когда баюкал,
 себя прижав, и хлопаньем очей
 внушал пространству: погоди ж немного,
 всего-то жизнь пройдёт, и я тебе...
 Кровинка, пёс, то дряхлый, колченогий,
 то юный, вёрткий, то беда, ЧП,
 то флегма, то она, то бордер-колли,
 то сенбернар, то Гильденстерн восьмой,
 то энный Розенкранц, то перец с солью,

то арлекин, то лисий хвост, то хвост трубой,
глаз не сводил, когда малыш, от счастья
светясь, собрал их и с собой унёс.

Другое время. Время рыка в пасти
ушло. Спасибо, я всё видел, пёс.

Ледовит (декабрь)

Мы пляшем так, что за травую ноги
сбиваются и больше не растут,
и бешенства движения и токи —
умри, усни, смотри — дрожат, и зуд
сгущения вокруг подножной мути
с притворного на ясное стремится
себя и отдаётся в самой сути:
был тёплым я, а нынче ледовит;
лишь девочка, губами Пастернака
в метро целующая за строкой строку,
потёк оставит на щеке. Однако
декабрь захочет новую щеку.

РАСПЯТЬ РАЗ СЕМЬ

Эволюция	7
Читать, заикаясь	8
Миллион лет до нашей эры II	9
Однажды в Афинах (из Софокла)	10
Из Марка Порция Катона	12
На Томы! (Из Овидия)	14
Варвары (волна придёт)	15
Миллион лет до РХ	16
Иосиф	18
Дева	20
Мясная лавка (1551)	22
Нимрод	23
Почта с границы (из Овидия)	25
Спячка (сарматы)	27
Дайте ж утереться (из Лукана)	28
Расписание (задержка дыхания)	29
Быть вместо	30
Обман	31
На любой площади	32
И тут внезапно возникает декольте.	33
Дама просит (из Жоржа Шателлена)	34
Колоколотейщики переколотили выкарабкавшихся выхухолей	36

В ГЛУБИНЕ МОЛОКА

Декабрь 1812-го	39
Однажды в Савиньи-ле-Тампле	40
Ветрено	42

Снящиеся дни (дворник)	43
(Птицы) Вши и черви	44
Южанки за работой	46
Равнение, сволочь (1917-й)	47
Суета, или 1918 год в Петрограде (1920)	48
Рука, рот и слово	49
Год поэзии	50
Время (боль)	51
Из Хармса III (а тут менты)	53
Ссылные сны (с днём рождения, палачи)	54
Вот мне бы	55
Горский язык (из Гарольда Пинтера)	56
Иногда похожи	57
?	58
Приклад	60
Запевала	62
Линия огня	63
Рядовой Танатос (когда я чуть не выжил)	65
Парад	66
Заткнитесь	67
Чучельный мастер	68
Будний день (бить)	70
Танго	71
Дрочида Пота (ПТС)	73
Движения рук	75
В	77
Облака	78
Пошехонский экспресс	80
Бесы	82

МЕДАЛЬ ЗА НОГУ

Ротный	85
Человек и медведь	87
Обычная история: велосипед	89
Обычная история: тьма внутри	90
Обычная история: жена Лота	91
Обычная история: тьма снаружи	92
Щупать	93
Туда и обратно	94
Простым делением (агамогенез)	96
Пельмени	97
Пустое	99
Это	101
— · · — (проблемы общения с другими цивилизациями)	103
Медитация 807 (всему своё время)	105
Ледовит (декабрь)	107

